

И не пойму — странно это или естественно: народ стремительно стареет, а жизнь беспечно и как-то безответственно молодеет и ведет себя так, словно никакой истории в ней не было и нет. И не было долгой правды, живого опыта любви и памяти, который держал страну, культуру и человека. Слово нынешняя правда в капусте нашлась, и вот она весело, не обременяясь наследованной памятью, летит вперед во всех областях жизни, сверяясь с президентским возрастом как с эталоном мысли и правды. А на моих нечаянно сошедшихся на рабочем столе нынешних героев — двух посмертных лауреатов Солженицынской премии Виктора Петровича Астафьева и Константина Дмитриевича Воробьёва можно и вовсе не оглядываться.

А только, слава Богу, слово живет своим временем, в котором наши земные возрасты ничего не определяют, и там — только открой страницу и остановишься. И уже никуда лететь не надо.

У Виктора Петровича вышел в Иркутске у издателя Сапронова (это была последняя работа несомненно уже навсегда вошедшего

в издательскую историю России покойного Геннадия Константиновича Сапронова) том писем «Нет мне ответа». А в Курске — пятитомное собрание сочинений К. Воробьёва, где каждый том «прошит» письмами как лучшим комментарием. Я обрадовался «ходу» курских издателей, как своему. Всегда мне было обидно, что письма в собраниях сочинений ссылаются в отдельные тома и живут там суверенной жизнью, тогда как они рождались вместе с художественными сочинениями, дышали их судьбой и много чего объясняли в причинах их появления, в самом порядке жизни писателя в час написания. Замечательно у курян и то, что они печатают тут же и статьи о Воробьёве, выходившие в час его работы, и по ним, по тону их тоже видно, ожесточена или возвышена и укреплена была душа писателя, когда он садился за стол.

Чтобы написать даже порознь об этих изданиях двух теперь уже очевидно великих писателей, потребны десятки страниц и месяцы уединения, а хотелось как-то именно о них вместе. И я решил посмотреть только пору их знакомства и десять лет дружества — их письма с 1964 года до болезни и смерти Воробьёва в начале 1975-го.

Писем Виктора Петровича к Воробьёву в иркутском сборнике не оказалось. Все думаю — почему? Сапронов объявил о возможном томе писем Виктора Петровича всем, кто знал Астафьева и кого знал он, задолго до издания. Объявил устно и письменно и просил окликнуть друг друга всех, кто мог быть нечаянно забыт. И письма пошли отовсюду — отдельные и пачками. Виктор Петрович был щедр на переписку и еще в начальные годы писательства заметил одному из корреспондентов, что отвечает на все письма, чтобы у читателей не ронялось уважение к сословию русских писателей, в которое он ответственно вступал. Может быть, Воробьёв просто не хранил астафьевские письма: прочитал, ответил и забыл. Это Мария Семёновна с ее систематическим умом давнего библиотекаря ничего не упускала и сберегла великий архив Виктора Петровича. Сам он легко пустил бы его по ветру. Но если письма Константина Дмитриевича и сбереглись, то, скорее всего, оказались после его смерти в архивах Вильнюса, где он жил, а это уж теперь во-он где — на одни запросы бумаги не напасешься.

Так или иначе, у нас есть только сохранные Марьей Семёновной Воробьёвские письма. Но, как в беседе, когда мы слышим одну сторону, нам легко догадаться о том, что говорит неслышимый нам собеседник, так и тут легко представить, о чем писал в своем первом письме (очевидно, в конце 1963 года) Виктор Петрович. Как благодарно, как только он и умел, восхищался повестями Константина Дмитриевича «Крик» и «Убиты под Москвой». И может, от некоторого чувства неловкости и тянул до Нового года, когда благодарные слова как-то естественнее. Он, как и Воробьёв, знал, как дороги, как необходимы писателю слова одобрения в особенности от своих товарищей, а не от нашего брата-критика, для которого это только профессия.

Я жалею только, что не могу сейчас прочесть, как в этом новогоднем благодарном письме Виктор Петрович все-таки не смог удержаться от укора повести «Капля крови», написанной каким-то другим Воробьёвым. На что Константин Дмитриевич улыбнулся — «судя по тому, что она Вам не понравилась, я не сожалею о том, что не являюсь ее автором». Но каков Виктор Петрович! В первом письме заступиться за чистоту литературы, отказав уже дорогому человеку в праве на ошибку! Он с первых писательских работ был требователен к себе и другим, а уж в эту пору вполне сознавал себя писателем и высоту этого звания держал достойно.

Еще в 1959 году он почти устало отчитывался своему другу П. В. Чацкому: «Я пишу девятый год. Мне тридцать пять лет» — и подчеркивал свой главный принцип «уметь работать и не говорить красиво, не удивлять блестящими верхушками, нахватаемыми отовсюду». Он уже автор «Перевала» и «Стародуба». Он уже корит себя за поверхностный роман «Тают снега». А к поре первого письма Воробьёву за ним уже «Звездопад» и первые главы «Последнего поклона» и замысел «Пастуха и пастушки». И он в этом письме-объятии Воробьёву не только радуется чуду близкого духом дара, а уже немного «отвечает» за литературу, к которой принадлежит, и окликает товарища, чтобы быть вместе, чтобы не дать победить еще всю торжествующей мертвечине литературных начальников Бабаевского и Кочетова, Бровмана и Леонида Соболева.

Будто чувствует стену, которую им надо повалить, чтобы сказать свое, глядеть шире, не задыхаться в чужой тесноте. Будто стоящие за ними война и смерть открыли им другое зрение, а мир все глядит «старыми глазами» и не видит всей жизни и норовит и их, зрячих, ослепить и сузить. Так Ю. П. Казаков тогда писал В. В. Конецкому, что надо «нравственно обняться» для силы сопротивления. И К. Д. Воробьёв радуется привету и сходится с Астафьевым скоро и радостно. И через два письма они на «ты», и вон он 15 марта 1964 года уж будто утешает Виктора Петровича, что они не одиноки: «Господи, как хорошо, что на земле моей сохранились еще люди, как ты, как Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин, Виктор Некрасов...» И какой гордостью и силой дышит письмо, когда оно касается не частных, не мучительного быта, не издательского бедованья, когда всякое слово на подозрении, когда «сволочи выбивают перо из рук», когда уже «места нет живого», а когда дело идет о самом главном, что держит его на земле и в литературе: «Нет, живы мы — столбовые русские смерды и дворяне — и никому никогда не отдадим свой летучий — для нас неминуемый — гений, всеохватную душу свою, умеющую любить, терпеть, прощать и помнить».

Как надо чувствовать себя частью народного целого, чтобы сказать это! И как верно о русском гении: «летучий и неминуемый»! И как удивительно верно сформулирован, как на Вселенском Соборе, этот «символ веры», принцип существования в литературе, условие их победы: «любить, терпеть, прощать и помнить». Это трудно сопрягать в сердце — «любить и терпеть» и тем более — «прощать и помнить», такие слова не предполагают соседства. Но именно они и определили их путь и позволили им «прорваться».

Ну, еще и то, что в том же коротком, но таком плотном письме от 15 марта было обозначено Воробьёвым как вера, что «друг без друга, без локтя и слова — нельзя». И скоро Виктор Петрович для Воробьёва — «дружище», «Витёк», «брат мой», «песенная душа». И они уже наперегонки читают друг друга и не дают спуска. Вскоре в том же 1964 году Воробьёв напишет: «Ты хороший писатель. У тебя несметная куча дара Божьего и сердце у тебя большое, зрячее и доброе», но и тут же: «только ты иногда

бываешь многословен, будто не доверяешь читателю. Скупее давай, скупее...»

И, старые солдаты, как они берегут друг друга! Знает Воробьёв, что товарищу тоже несладко, и не давит его еще и своими бедами: «Принимался несколько раз..., но выходило мрачно, тоскливо», — и он рвал письма: «Я не люблю нытиков и неудачников». Как видно, это же иногда делал и Астафьев, потому что нет-нет Воробьёв просил: «Пиши, не молчи годами», хотя «года» исчислялись несколькими месяцами. Но, как ни удерживай себя, а письма понемногу темнеют.

Воробьёв устает в Литве, рвется в Псков, в Вологду, Воронеж. Просит о помощи в переезде. Виктор Петрович кидается по начальству. Ничего не выходит. Печатают Воробьёва все реже. Виктор Петрович и сам пока не на лучшем счету у издателей, хотя и поудачливее своего товарища. Но его рекомендации разбиваются об издательское равнодушие. Там редко глядят дальше рукописи и не торопятся смотреть на условия, в которых эти рукописи рождаются. Рукописей во все времена хватает — не хватает сердца.

Десятилетие их дружества в 1974 году будет печально. Воробьёв в больнице «с воспалением мозга и частичным параличом конечностей». Ему нужны деньги на лечение. Он надеется издаться в «Современнике» и 9 сентября 1974 года просит Виктора Петровича о рекомендации и с уже не удерживаемой горечью пишет: «На мне лежит какое-то проклятие, а за что — никто не знает... Всё изгадил, всех напугал Бровман». Виктор Петрович тотчас напишет эту рекомендацию в «Современник», и через две недели Воробьёв поблагодарит его за нее, но ему и тут откажут. Он еще не оставит надежды: «Переживем и это. Было ведь хуже и подлей. И опасней». Но тогда и сил у обоих было больше.

Не пережил Константин Дмитриевич. Он написал это последнее письмо («Переживем, было хуже...») 19 сентября 1974 года, а 2 марта 1975 после тяжелых страданий умер, как погиб с солдатским терпением...

Теперь я смотрю в именном указателе переписки Виктора Петровича, сколько раз он окликает Воробьёва — около двадцати. Последний — в 1995-м, когда Константина Дмитриевича

уже двадцать лет не было в живых. И как везде высок и честен контекст, как переключка в строю тех, с кем ты — Человек. Будто как некогда Воробьёв крепился рядом дорогих современников («Твардовский, Пастернак, Юрка Нагибин...»), так и Виктор Петрович с самого начала дружбы ухватывался уже за него самого и строил свой ряд тех, кто «пересаливают хлеб черствый, едят хрен с квасом, но не пишут на потребу, как Вася Белов и Юра Казаков, И Костя Воробьёв, и тот же Солженицын, и Максимов...». Он писал это А. М. Борщаговскому в 1966 году. А через два месяца в письме А. Н. Макарову, мучается неловкостью, что о нем уже достаточно пишут, тогда как «есть ребята, которые куда лучше меня работают, а находятся втуне». И неловко рекомендует: «...вот о них (например, о Косте Воробьёве) и написать бы...» А еще через полгода, в начале 1967-го, в письме Макарову же, опять эхом откликнется одно из писем Константина Дмитриевича: «Есть одно опасение, которое высказал в письме ко мне трагически живущий Костя Воробьёв, — как бы усталость и раздражение не переросли в озлобление. Русской литературой всегда двигала любовь... Не дай Бог нашей литературе потерять ее главное достоинство». Внимательный читатель Астафьева спустя тридцать лет услышит в прозе Виктора Петровича это «озлобление», когда урок Воробьёва будет забыт и сердце Астафьева не вытерпит общего ожесточения против его последнего романа о войне. Но это потом. А тут нам дорого, что «трагически живущий» Воробьёв и сам не ожесточается, и друга, который в это время пишет «Кражу», предупреждает — так еще едина литература и так высока ответственность перед ней.

Их еще было мало — так понимающих слово. Еще не они определяли интонацию времени — тем крепче и решительнее надо было стоять в правде. В 1970 году Виктор Петрович рекомендует Воробьёва своим землякам в ряду Абрамова, Можаяева, Лихоносова, Белова, и в этой заботе о понимании земляками правды и слова тоже было чутье литературы как целого, где читатель требовал той же заботы и ответственности, потому что они только вместе — литература. Они были «первое поколение» литературы, открывавшее правду после войны как после всемирного потопа, и потому ставили литературу так поднебесно высоко.

Я твержу об этом с настойчивостью изголодавшегося сердца, потому что сегодня-то как раз до читателя дела нет — он проходит по разряду потребителя, и о нем думают не писатели, а издательские менеджеры, высокие специалисты по «милорду глупому».

А что Воробьёв действительно живет «далеко» и справедливо чувствует себя чужестранцем, я вдруг вижу по письму Виктора Петровича к своему красноярскому товарищу Н. Волокитину. Виктор Петрович просит его позаботиться о своем сердце и советует ему Кисловодск, потому что ему самому когда-то рекомендовал его Воробьёв. Письмо помечено мартом 1975 года, а ведь 2 марта Воробьёв умер. И, значит, можно было смело ставить не просто «март», а первое марта, что Виктор Петрович непременно бы сделал, если бы это было именно первое — такова уж магия начальных чисел. А вот нет. И значит это только то, что Константин Дмитриевич ушел в своем страдании «незаметно» и весть из Вильнюса добралась не сразу. В письме Виктора Петровича он еще хоть и страдает, но, судя по строю письма, жив: «Костя Воробьёв, которому недавно раздолбили голову в больнице (все остальное раздолблено в войну), говорил мне, что Кисловодск творит чудеса, а ему можно верить» — видите не «можно было», а «можно». Об операции Воробьёв писал в сентябре 1974-го. И Виктор Петрович об эту пору, возможно, думает, что все еще обойдется, потому что школу своего друга знал («два раза сидел в смертных камерах — в немецкой и в нашей»). Да и сам Воробьёв, не любя нытиков, писал ведь «переживем и это».

Когда же весть все-таки придет, Виктор Петрович, и прежде как будто стеснявшийся своего относительного успеха, будет корить себя своим «благополучием» больше прежнего и спрашивать с себя еще жестче: «...как подумаю о судьбе Кости Воробьёва, так и неловкость чувствую перед ним, даже перед мертвым». Это уж так. У нас только смертью оплаченная правда — правда. Это русский художник всегда знал и чуть видел, что у него все идет как следует, чувствовал неладное.

Судьба Воробьёва будет мучить Виктора Петровича остро и долго. Я не знаю, откуда он взял (в письмах Константина

Дмитриевича я этого не нашел), но Виктор Петрович не раз с горькой тоской и мукой пересказывал, может быть, и не сохраненное Марьей Семёновной из-за его боли письмо про то, как Воробьёв идет по улицам Вильнюса, стараясь держаться поближе к стене, чтобы, когда сердце откажет, хотя бы не упасть, а сползти. И вот, стыдно сказать, думает больше о том, чтобы сделать это поаккуратнее, потому что у него нет носков, и вот он упадет, и это станет видно. Он до последней минуты и в нищете всё офицер, кремлевский курсант, и в нем болит униженное отечество и русская честь.

Вот тут, кажется, Виктор Петрович впервые и испытал чувство ожесточения, от которого остерегал его Константин Дмитриевич. Свою боль он мог перенести любую, а чужая, тем более близких духом людей, приводила его в неистовство. В этот час, будь Воробьёв рядом, он отдал бы всё, заслонил собой.

И вот сейчас я думаю, что в «Проклятых и убитых», вызвавших такой гнев у постаревших солдат и нестареющих генералов, он думал и об этом и не мог простить, что солдаты могут умирать в таком унижении. Выжившие просто забыли по милосердию лет, как все было, и все в прошлом простили. И он бы простил, да думал не о себе и не себя видел, а мученическую боль других, потому что с детского дома был ранен любой болью как своей, ранен навсегда. Отчего и стал великим писателем, как все они, кто чужое горе видел раньше своего — Носов, Воробьёв, Быков, Кондратьев, кто всегда слышал друг друга и шел отрядом.

Потом упоминания Воробьёва в астафьевских письмах поредеют, но не уйдут совсем. Он будет говорить о своем товарище при всякой писательской и читательской встрече. В 1981 году опять будет тщетно просить у Московской писательской организации квартиры уже для жены Константина Дмитриевича Веры Викторовны, радуясь хоть такой возможности напомнить о своем товарище, вырвать его у жадного забвения, которое тогда уже нависло над Воробьёвым. Забвение было формой уничтожения «трудного» писателя, и технология его была отработана. Виктор Петрович не сдавался и радовался, когда эту память подхватывали и держали другие, как не раз делал Игорь Петрович Золотусский, и Виктор Петрович благодарил его за память «горькую

и чистую» и не стыдился признания, что не умел удержать слез при телевизионной передаче о Воробьеве. Хотя обычно слезы держал — детдомовец же: там только расслабься. И в этом отношении они с Константином Дмитриевичем, у которого была та же школа, были братья. Да и Игорь Петрович из той же породы, из старой русской беды, когда история сиротит детей, но не лишает их памяти, чтобы потом они могли сказать Родине нетаящиеся слова гнева и печали и, может быть, остеречь ее. Хотя сегодня видно, что она не торопится остерегаться, готова новое поколение сирот, которые отомстят ей уже своим гневом и печалью тем более тяжкими, что нынешние сироты уже не усваивают милосердных уроков русской литературы.

И через двадцать лет после кончины Воробьева Астафьев все будет держать его в синодиках лучших незаслоняемых имен и будет просить старого своего товарища Александра Михайлова, умевшего найти лучшие слова для воевавшего поколения: «Когда будешь впредь толковать о «правде войны», не забывай, пожалуйста, Костю Воробьева, он ведь раньше всех нас на боевой рубеж вышел и пал на нем, всеми брошенный и одинокий». Потому что боевой рубеж все оставался боевым. Они «прорвались» и успели сказать много, но история не любит правды, предпочитая носить одежды «правлящей партии».

Виктор Петрович знал, что ему придется туго с его пока так еще и не осознанным нами романом «Прокляты и убиты», и воробьевская прямота давала ему силы, держала и крепила его. Им вдвоем было надежней. И он все возвращал, возвращал Воробьева в живую борьбу, чтобы быть вместе. В его переписке скоро появятся жесткие письма, которые вызовут гнев старых, уверенных в своем давно обжитом казенном мировоззрении людей. И Астафьев всегда поднимается в ответную атаку не один, как в письме лета 1995 года некоему типичному Куликовскому, который ищет привычной по прежней военной литературе «фронтowej доблести» и «тылового терпения». Всегда и прежде прямой Виктор Петрович встречает такие атаки с солдатской резкостью и уже не ищет осмотрительных слов: «Список Ваших любимых писателей потрясающ, эти покойнички... ничего уже, кроме вздоха сожаления, часто и насмешки, не вызывают. В Вашем списке нет

мною уважаемых писателей, есть беспомощные приспособленцы, елеем мазавшие губы советскому читателю. Константин Воробьев, покойный мой друг, Александр Твардовский, Виктор Некрасов, Василий Гроссман, Василь Быков, Иван Акулов, Виктор Курочкин, Эммануил Казакевич, Светлана Алексиевич — вот далеко не полный перечень тех, кто пытался и еще пытается сказать правду о войне и кого за это согнали в ранние могилы такие вот, как Вы, моралисты, присвоившие себе право поучать всех и объяснять «неразумным» правду да выгонять их за границу, как Солженицына или того же прекрасного писателя — Георгия Владимова». Я выписал этот абзац так обстоятельно не только из-за того, что Воробьев стоит здесь на первом месте, но чтобы еще раз созвать на переключку этот прекрасный строй ссылаемых сегодня в забвение писателей.

И опять не знаю, странно или естественно, но это последнее упоминание Константина Дмитриевича в толстом томе переписки Виктора Петровича. Впереди у Виктора Петровича были еще самые сложные годы, когда, кажется, все — свои и чужие — взнимутся против него, и мне еще выпадет горькое счастье отстаивать его «Камертон», его «Веселого солдата», когда я впервые пойму, зачем редакторам нужны никем не читаемые предисловия. Им надо даже не защититься, не разделить ответственности. Им легче не будет, вся тяжесть государственных укоров все равно ляжет на них, но им будет отрадно знать, что они не одиноки, что где-то так же остро переживает их боль другой человек, что они тоже вместе, как когда-то были Воробьев и Астафьев. Счастье незаметного труда редакторов и критиков в том самом и есть, что однажды они, благодаря писателям, тоже могут почувствовать себя на минуту отважными и отчасти тоже авторами строящейся на дворе истории. А что она строится нами всеми, видно, я думаю, даже на этом коротком сюжете переписки двух теперь уже очевидно великих солдат и писателей, которые рано или поздно соберут и спасут эгоистический мир.

И теперь я с очевидностью вижу то, о чем прежде догадывался и в одной из работ об Астафьеве писал, — что с войны не только нельзя вернуться героем, как не раз говорил Астафьев, но с нее

вообще нельзя вернуться. Они долго жили как будто общей с нами жизнью, и ты мог обмануться близостью забот и общностью миропонимания, но в последнее мгновение ты всегда наткнулся на малое непостижимое зерно, на тонкую непреходимую границу. А это у них слова значили больше нашего, даже и те же самые слова, потому что они не раз ставили слово перед лицом смерти и видели его как впервые. И узнавали друг друга, как по взгляду, по первым же словам, по их поставу. Как, вероятно, узнавали друг друга те, кто проходил сталинские и последующие политические лагеря. Я с улыбкой вспоминаю, как Алла Александровна Андреева (вдова Даниила Андреева), смеясь, говорила Леониду Ивановичу Бородину, когда мы пытались развязать какие-то политические тонкости 1993 года: «Что они, несидевшие, понимают?»

Вот и тут было то же. Мы смели судить их с точки зрения впрыснутой нам отравленной истории, в которой все было благополучно расставлено по местам. А они жили и умирали не в прибранном «тексте», а в страшной плоти жизни, которая, кажется, с начала XX века не годилась для «истории», ибо попирала все законы, все традиции и принципы, которыми Бог обуздывал историю, попирала для окончательного человеческого своеволия. Почему сейчас нам так трудно дается история минувшего века, и мы переписываем ее каждый день и чувствуем, как все «хлябает» и не хочет становиться порядком и системой. А это мстят за себя захватанные, потерявшие смысл слова, отчего мы уже который раз за век беспокоимся за состояние русского языка и ищем разгадки в его реформах, тогда как надо только благодарно и бережно вчитаться в горькие и мужественные книги и письма своих неудобных писателей и не страшиться сказать себе: «Сбились мы. Что делать нам?» И терпеливо и достойно шаг за шагом выбираться на Господню дорогу прямой правды, которой до последнего своего дня шли ее настоящие солдаты, знавшие, что война против человека в человеке не прекращается никогда.

Они «убиты под Москвой», они «прокляты и убиты», а мы предаем и предаем их поощрительной похвалой или самоуверенным укором в непонимании ими исторической необходимости.

Но правда, как и Бог, долго оскорбляемы не бывают. Для того и выходят малыми тиражами в Курске и Иркутске беспокойные книги старых писателей. Для того и доходят до нас их тревожные письма, чтобы память о жизни не оставила нас окончательно. И мы хоть время от времени вспоминали, чьи мы дети и чем оплачена наша всеобщая сегодняшняя беспамятная «молодость».